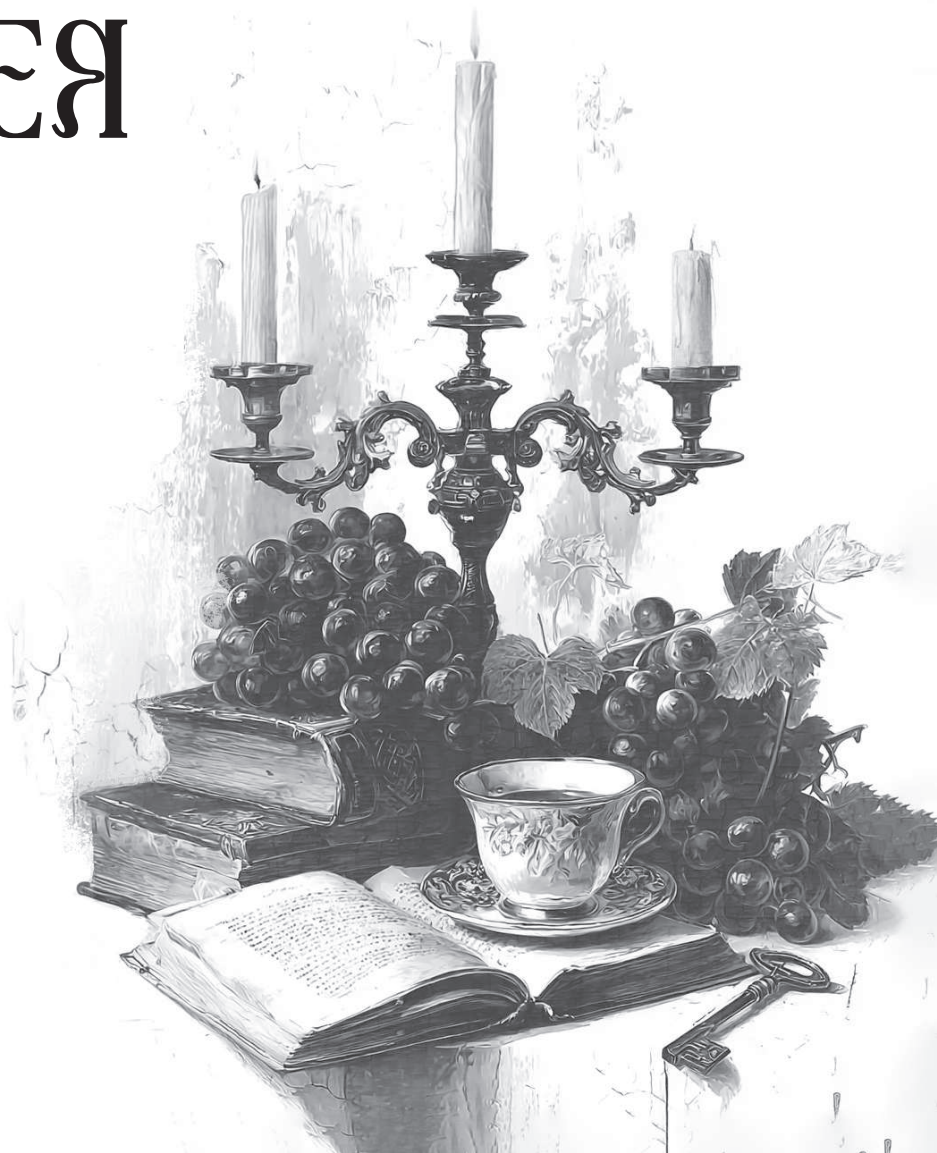




ОСКАР УАЙЛЬД

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ



УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
У13

Иллюстрации *В. Петелина*

Перевод с английского *М. Ричардса* под редакцией *К. Чуковского*

Перевод с английского статей и писем Оскара Уайльда
в защиту «Портрета Дориана Грея» *С. Бердяева*

Выражаем благодарность Golden Prosperity Engineering Team
за разработку объемного механизма на обложке книги

Уайльд, Оскар.

У13 Портрет Дориана Грея / Оскар Уайльд ; иллюстрации В. Петелина ; [перевод с английского М. Ричардса под редакцией К. Чуковского]. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 256 с.: ил. — (THE POP-UP BOOK. Шедевры литературы).

ISBN 978-5-17-171883-1

Оскар Уайльд – один из самых известных писателей Викторианской эпохи, классик мировой литературы. Его единственный роман «Портрет Дориана Грея», гимн декадентства и эстетизма, при жизни автора вызвал взрывную реакцию, споры и критику. История Дориана Грея – юноши, чья ангельская красота ярко контрастировала с порочным образом жизни, – и его загадочного портрета до сих пор будоражит сердца и умы читателей. Сегодня роман признан подлинным шедевром, поднимающим вопросы этики, морали и истинной красоты.

Это издание – настоящий подарок для всех поклонников «Портрета Дориана Грея». Интерактивный элемент на обложке книги, подарочное оформление и рисунки известного художника Валерия Петелина предлагают особый взгляд на классику мировой литературы.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-171883-1

© Чуковский К. И., насл., 2026
© Петелин В. В., ил., 2026
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2026

Оскар Уайльд
ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ
Роман

ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник — это тот, кто создает красивые вещи.

Раскрыть художество и скрыть художника — такова у художества цель.

Критик — это тот, кто в новой манере или пользуясь новым материалом выразит свое впечатление от этих красивых вещей.

Критика, плохая и хорошая, всегда есть автобиография.

Так что те, кто видит развратное в прекрасном, сами развратны и притом не прекрасны. Это большой недостаток.

Находить в прекрасных вещах также и прекрасные идеи умеют люди культурные. Для них еще есть надежда.

И только для избранных прекрасные вещи исключительно означают красоту.

Нет ни нравственных, ни безнравственных книг. Есть книги, хорошо написанные, и есть книги, плохо написанные. Только.

Неприятнь девятнадцатого века к реализму — это ярость Калибана, видящего в зеркале свое лицо.

Неприятнь девятнадцатого века к романтизму — это ярость Калибана, не видящего в зеркале своего лица.

Чья-нибудь нравственная жизнь может порой оказаться сюжетом художника; однако вся нравственность художества — в совершенном применении несовершенных средств.

Ни единый художник не желает что-либо доказывать, ведь доказаны могут быть даже достоверные истины.

Ни у какого художника не бывает этических пристрастий. Этические пристрастия в художнике есть непростительная манерность стиля.

Болезненных художников нет. Художник может изображать все.
Мысль и язык для художника, — орудия его художества.
Порок и беспорочность для художника — материалы его художества.
В отношении формы, музыка есть первообраз всякого искусства. В отношении чувства, первообразом является лицедейство актера.
Всякое искусство одновременно есть и поверхность и символ.
Те, кто проникают глубже поверхности, сами ответственны за это.
Те, кто разгадывают символ, сами ответственны за это.
Ибо зрителя, а не жизнь, поистине отражает искусство.
Несогласие мнений о каком-нибудь создании искусства свидетельствует, что это создание ново, сложно и жизненно.
Если критики между собой не согласны, — художник в согласии с собою.
Мы можем простить человека, создающего полезную вещь, если сам он не восхищается ею. Единственное оправдание для создающего бесполезную вещь — это то, что каждый восхищается ею безмерно.
Все искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд.
1891 г.



I

Мастерская была пропитана пряным ароматом роз, и, когда легкое дуновение летнего ветерка проносилось в саду меж деревьями, в открытую дверь врывался удушливый запах сирени или тонкое благоухание розового шиповника.

Лежа в углу дивана, покрытого персидскими чепраками, и куря, по обыкновению, одну за другою бесчисленные папиросы, лорд Генри Уоттон мог мельком улавливать сияние медвяно-сладких и медово-цветных лепестков альпийского раkitника, трепетные ветви которого, казалось, едва выдерживали тяжесть своей пламенно-яркой красоты; изредка по длинным шелковым занавесям громадного окна, создавая на мгновение эффект японской живописи, проносились фантастические тени пролетающих мимо птиц, заставляя лорда Уоттона думать о токийских желтолицых художниках, стремящихся выразить порыв и движение в неподвижном по своей природе искусстве. Дремотное жужжание пчел, то пробивавших себе дорогу в нескошенной высокой траве, то с однообразной настойчивостью кружившихся над пыльными, золочеными усиками вьющейся лесной мальвы, как будто делали тишину еще более тягостной. Глухой гул Лондона доносился сюда, как басовые ноты далекого органа.

Посреди комнаты на мольберте стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты во весь рост, а перед ним, немного поодаль, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, внезапное исчезновение которого несколько лет тому назад вызвало в обществе так много шума и возбудило немало странных толков.

Когда художник взглянул на грациозную, красивую фигуру, так искусно отраженную его кистью, улыбка удовольствия появилась и как бы застыла у него на лице. Внезапно он вскочил и, закрыв глаза, прижал свои веки пальцами, будто стараясь удержать у себя в мозгу какой-то чудный сон, от которого он боялся проснуться.

— Это ваше лучшее произведение, Бэзиль, лучшая из всех вами написанных картин, — проговорил лорд Генри томно. — Вы непременно должны выставить его в будущем году в Grosvenor Gallery. Академическая выставка слишком велика и вульгарна. Когда бы мне ни случилось там бывать, там всегда такое множество людей, что немислимо разглядеть картины, а это ужасно, или же такое множество картин, что нельзя разглядеть людей, а это еще ужаснее. Гросвенор, по-моему, единственное место для вас.

— Вернее всего, я не стану нигде выставлять эту вещь, — ответил Бэзиль, закидывая голову назад по своей странной привычке, заставлявшей, бывало, его товарищей в Оксфорде¹ смеяться над ним. — Нет, я нигде не выставлю ее.

Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь прозрачно-голубые завитки дыма, причудливыми кольцами поднимавшиеся от его крепкой папиросы, пропитанной опиумом.

— Вы ее не выставите? Да почему же, милейший? По какой причине? Какие вы, художники, странные люди! Вы все на свете готовы сделать, чтобы добиться известности; а как только вы ее добьетесь, вы точно стараетесь от нее отвязаться. Это, по-моему, глупо, ибо что может быть на свете хуже того, что о человеке все говорят? Только одно: когда о нем молчат. А такой портрет, как этот, поставит вас головою выше всех молодых художников Англии, а старых преисполнит чувством зависти, если только старики вообще-то способны на какие-нибудь чувства.

— Я знаю, что вы будете надо мною смеяться, — ответил художник, — но я, право, не могу выставить этот портрет, я вложил в него слишком много себя самого.

Лорд Генри растянулся на диване и засмеялся.

— Да, я знал, что вы будете смеяться; но тем не менее это так.

— Слишком много себя самого! Честное слово, Бэзиль, я не знал, что вы до того тщеславны; и я, право, не вижу никакого сходства между вами, — у вас такое суровое, сильное лицо и черные, как уголь, волосы, — и этим юным Адонисом, который словно сотворен из слоновой кости и лепестков

¹ Старинный английский университет (здесь и далее — прим. пер.).

розы. Ведь, дорогой мой Бэзил, он — Нарцисс, а вы... гм... конечно, у вас очень одухотворенное выражение лица и все такое; но красота, настоящая красота кончается там, где начинается одухотворенность. Интеллект сам по себе уже есть вид преувеличения, и он нарушает гармонию всякого лица. Как только человек начинает думать, у него лицо превращается в один сплошной нос, или лоб, или что-нибудь такое же ужасное. Посмотрите на выдающихся людей какой угодно ученой профессии. Как они все безобразны! Исключая, конечно, лиц духовных. Но те ведь никогда и не думают. Епископ и в восемьдесят лет обыкновенно повторяет то, что его учили говорить, когда он был мальчишкой восемнадцати лет, и естественно поэтому, что наружность его навсегда остается приятной. Ваш таинственный юный приятель, имени которого вы не сказали мне, но чей портрет меня прямо восхищает, наверное, не мыслит никогда. Я в этом совершенно уверен. Он — безмозгое, прелестное создание, и его надлежало бы всегда иметь здесь зимой, когда нет цветов, на которые можно смотреть, и летом, когда чувствуешь потребность охладить свои мысли. Пожалуйста, не льстите себе самому, милый Бэзил; вы ни капельки на него не похожи.

— Вы меня не понимаете, Гарри, — ответил художник. — Конечно, я не похож на него. Я это знаю прекрасно. И, право, я бы очень жалел, если бы оказался похож на него. Вы пожимаете плечами? Я говорю вам правду. Над всяким физическим или умственным превосходством тяготеет какой-то рок, тот самый, который на всем протяжении истории преследует нетвердую поступь царей. Лучше не отличаться от других. Уроды и дураки в этом мире всегда остаются в барышах. Они могут спокойно сидеть и празднично взирать на то, как играют другие. Если они не знают побед, зато не знают поражений. Они живут так, как все мы должны бы жить: невозмутимо, равнодушно, не зная тревог. Они никому не приносят гибели и сами не гибнут от вражеских рук. Ваше положение и богатство, Гарри; мой ум, каков бы он ни был, мое искусство, какова бы ни была ему цена; красота Дориана Грея — за все эти дары богов мы заплатим когда-нибудь страданием, страшным страданием.

— Дориан Грей? Его так зовут? — спросил лорд Генри, медленно переходя через всю мастерскую к Бэзилю Холлуорду.

— Да, его так зовут. Вам я не хотел называть его имя.

— Но почему же?

— О, этого я не могу объяснить. Видите ли, когда мне кто-нибудь очень нравится, я никогда никому не скажу его имени. Это почти то же самое, что отдавать его часть другим. Я научился любить таинственность. Ведь

только она и может сделать для нас современную жизнь чудесной и загадочной. Всякий пустяк становится интересным, как только начинаешь его скрывать. Когда я теперь уезжаю из города, я никогда не сообщаю своим близким, куда я еду. Если бы я это сделал, все удовольствие поездки было бы для меня потеряно. Это глупая привычка, быть может, но она вносит каким-то образом значительную долю романтизма в жизнь. Конечно, вы все это считаете ужасно глупым?

— Вовсе нет, — ответил лорд Генри, — вовсе нет, дорогой Бэзил. Вы, кажется, забываете, что я женат и что единственная прелесть брака состоит в том, что он делает жизнь, полную обманов, неизбежной для обеих сторон. Я никогда не знаю, где моя жена, а жена моя никогда не знает, что я делаю. При встрече — а изредка мы встречаемся, когда вместе обедаем где-нибудь или бываем у герцога — мы рассказываем друг другу самые невероятные истории с самыми серьезными лицами. Моя жена хорошо это делает, в сущности, гораздо лучше, чем я. Она никогда не сбивается в числа, а я все всегда перепутаю. Но, когда ей случается меня поймать, она никогда не поднимает истории. Иногда мне даже хотелось бы, чтобы она рассердилась, но она только смеется надо мной.

— Терпеть не могу эту вашу манеру говорить о своей супружеской жизни, Гарри, — молвил Бэзил, подходя к дверям, ведущим в сад. — Я уверен, что вы на самом деле примерный муж, но что вы, в сущности, стыдитесь собственных своих добродетелей. Вы странный человек. Никогда не скажете ничего нравственного, но никогда не совершите ничего безнравственного. Ваш цинизм просто-напросто — поза.

— Быть естественным — поза, и самая раздражающая, какую только я знаю, — смеясь, возгласил лорд Генри.

Молодые люди вышли в сад и уселись на длинной бамбуковой скамейке, под тенью высокого лаврового куста. Лучи солнца скользили по гладкой листве деревьев. В траве дрожали белые маргаритки.

Они помолчали. Лорд Генри взглянул на часы.

— К сожалению, мне сейчас надо идти, Бэзил, — сказал он, — но я не уйду, пока вы не ответите мне на тот мой вопрос...

— Какой вопрос? — спросил Бэзил Холлуорд, не поднимая глаз от земли.

— Вы прекрасно знаете — какой.

— Нет, не знаю, Гарри.

— В таком случае я вам скажу. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему вы не желаете выставить портрет Дориана Грея. Я хочу знать настоящую причину.

— Я сказал вам настоящую причину.

— Нет. Вы сказали, что вложили в этот портрет слишком много себя самого. Но ведь это ребячество!

— Гарри! — сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в глаза. — Каждый портрет, написанный с чувством, есть, в сущности, портрет художника, а отнюдь не его модели. Модель — это просто случайность. Не ее раскрывает на полотне художник, а скорее самого себя. Потому-то я и не выставляю этот портрет, что боюсь, не раскрыл ли я в нем тайну своей собственной души.

Лорд Генри засмеялся.

— Что же это за тайна? — спросил он.

— Я скажу вам, — ответил Холлуорд; но выражение замешательства появилось у него на лице.

— Я весь ожидание, Бэзил, — продолжал его собеседник и посмотрел на него.

— О, говорить-то тут почти нечего, Гарри, — ответил художник. — Но вряд ли вы это поймете. А пожалуй, вряд ли и поверите.

Лорд Генри улыбнулся, наклонился и, сорвавши в траве бледно-розовую маргаритку, принялся ее рассматривать.

— Я совершенно уверен, что пойму все, — возразил он, пристально разглядывая маленький золотистый кружок, опушенный белыми лепестками, — что же касается веры, то я поверю чему угодно, лишь бы оно было совсем невероятно.

Порыв ветра стряхнул с деревьев несколько лепестков, а тяжелые гроздья сирени, мириады крошечных звездочек, заколыхались в сонном воздухе. Кузнечик затрещал у стены; и, словно синяя нить, длинная, тоненькая стрекоза пронеслась мимо на своих темных газовых крылышках. Лорду Генри показалось, что он слышит биение сердца Бэзиля Холлуорда, и он удивленно ждал, что будет дальше.

— Дело попросту вот в чем, — сказал через некоторое время художник, — два месяца тому назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Вы знаете, мы, бедные художники, должны время от времени появляться в обществе только для того, чтобы напомнить людям, что мы не совсем дикари. Во фраке и белом галстуке, по вашему собственному выражению, всякий, даже биржевой маклер, может приобрести репутацию цивилизованного человека. Ну, вот, войдя в залу и поболтав минут десять с разными разодетыми титулованными вдовицами и скучными академиками, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я повернулся вполборота и в первый раз в жизни увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились,

я почувствовал, что бледнею. Странный ужас охватил меня. Я понял, что столкнулся с человеком, самая личность которого была так обаятельна, что, если бы я только поддался, она могла бы поглотить все мое существо, всю душу, даже самое мое искусство. Я не хотел, чтобы на мою жизнь кто-нибудь влиял со стороны. Вы ведь сами знаете, Гарри, насколько я независим по природе. Я всегда был сам себе господин, по крайней мере, до встречи с Дорианом Греем. А тут... но я не знаю, как это вам объяснить... Что-то подсказало мне, что в моей жизни сейчас совершится ужасный какой-то перелом. Я как бы почувствовал, что судьба заготовила для меня изысканные радости и какие-то изысканные муки. Мне стало страшно, и я повернулся, чтобы покинуть комнату. Не совесть побудила меня так поступить, а скорее какая-то трусость. И я не могу поставить себе в заслугу это желание убежать.

— Совесть и трусость, право, одно и то же. Совесть — это лишь вывеска фирмы. Вот и все.

— Я этому не верю, Гарри; я даже не верю, что этому верите вы. Во всяком случае, каково бы ни было мое побуждение, — может быть, это была гордость, так как я всегда был очень горд, — я стал протискиваться к дверям. Но там я, конечно, натолкнулся на леди Брэндон. «Вы не собираетесь ли убежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Ведь вы знаете ее изумительно-резкий голос?

— Да, она — павлин во всех отношениях, только не в отношении красоты, — сказал лорд Генри, разрывая в клочки маргаритку своими тонкими, нервными пальцами.

— Я не мог от нее отделаться. Она стала подводить меня к высочайшим особам, разным сановникам в звездах и орденах, к старым дамам в гигантских диадемах и с такими носами, как у попугаев. Она говорила обо мне как о своем лучшем друге. До тех пор я лишь однажды видел ее, но она во что бы то ни стало желала, по-видимому, раздуть меня в знаменитость. Кажется, какая-то из моих картин имела в то время большой успех; по крайней мере, о ней кричали разные газеты, что в девятнадцатом веке должно служить мерилom бессмертия. Вдруг я очутился лицом к лицу с тем молодым человеком, внешность которого так странно поразила меня. Мы были близко, почти касались друг друга. Взоры наши встретились опять. Это было безрассудством с моей стороны, но я попросил леди Брэндон познакомить меня с ним. В конце концов, может быть, это и не было уж таким безрассудством. Это было просто неизбежно. Мы бы все равно заговорили друг с другом и безо всяких представлений. Я в этом уверен. Дориан мне потом сказал то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено было встретиться.

— А что же говорила вам леди Брэндон об этом чудесном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее привычку давать беглый ргéсiс каждого из ее гостей. Помню, как она раз подвела меня к какому-то суровому, багрянолицему старцу, увешанному орденами и лентами, и начала шептать мне на ухо трагическим шепотом, слышным для всех присутствовавших, самые чудовищные о нем подробности. Я сбежал. Я люблю узнавать людей сам. Но бедная леди Брэндон обращается со своими гостями, как аукционер со своим товаром. Она рассказывает вам о них всякие ничтожные подробности или же говорит вам все, кроме того, что бы вы хотели знать.

— Бедная леди Брэндон! Вы слишком жестоки к ней, Гарри, — ответил рассеянно Холлуорд.

— Мой милый, она пыталась основать салон, а ей удалось просто открыть у себя ресторан. Как же мне восторгаться ею? Но скажите мне, что она вам сообщила про Дориана Грея?

— О, что-то вроде: «Прелестный юноша... мы были неразлучны с его бедной матерью... Я забыла, чем он занимается... боюсь, что ничем... ах, да! играет на рояле... или на скрипке, не так ли, дорогой мистер Грей?» Мы оба не могли удержаться от смеха и сразу стали друзьями.

— Смех — недурное начало для дружбы и, пожалуй, лучший конец для нее, — заметил лорд Генри, срывая другую маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Вы, Гарри, не понимаете ни дружбы, ни вражды. Вы любите всех равно, то есть вы ко всем равнодушны...

— Как ужасно вы несправедливы! — воскликнул лорд Генри, сдвигая на затылок шляпу и поглядывая вверх на маленькие тучки, что, подобно спутанным клубкам блестящего белого шелка, плыли мимо по бирюзовому куполу летнего неба. — Да, ужасно несправедливы! Я очень различаю людей. Я выбираю себе друзей за их внешность, знакомых — за их хорошую репутацию и врагов — за их ум. Человек никогда не может быть достаточно осторожным в выборе своих врагов. У меня нет среди них ни одного дурака. Все они — люди с известными умственными достоинствами, и потому все они меня ценят. Разве это очень тщеславно с моей стороны? Мне кажется, это немного тщеславно.

— Мне это тоже кажется, Гарри. Но, согласно вашему определению, я, должно быть, у вас оказываюсь только простым знакомым.

— Любезнейший Бэзил, вы больше, чем просто знакомый.

— И меньше, чем друг. Нечто вроде брата, вероятно?

— Ну, братья! Я не очень-то их люблю! Мой старший брат никак не желает умереть, а младшие только это и делают.